

А.С. Деленив

Земля
не
принимает
Чучело

18+

Александра Деленив

Земля не принимает Чучело

«Автор»

2026

Деленив А.

Земля не принимает Чучело / А. Деленив — «Автор», 2026

«Земля не принимает Чучело» — мрачная и гротескная история о том, как рождается тирания в масштабах одного села, чем платят за безнаказанность и почему даже самая страшная власть однажды заканчивается.

© Деленив А., 2026

© Автор, 2026

Александра Деленив

Земля не принимает Чучело

Деленив А.С.

СОЦИАЛЬНАЯ САТИРА

Земля
не принимает
Чучело

«Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно».
— Лорд Актон, письмо епископу Манделлу Крейтону, 1887 г.

Глава 1. Голоса.

Иногда самое пугающее — это не чужие голоса, а ощущение, что собственный голос вдруг стал чужим. Ты открываешь рот, чтобы что-то сказать, произносишь слова — и замираешь, потому что интонация не твоя. Тембр не твой. Ты слышишь себя будто со стороны, как если бы кто-то другой говорил через тебя, используя твоё горло, твой язык, твои голосовые связки. Ты замолкаешь и думаешь: «Кто это сказал? Я? Или кто-то, кто сидит внутри меня?». И самое страшное — ты не знаешь ответа.

Но когда ты начинаешь сомневаться в собственных мыслях, когда перестаёшь понимать, где заканчиваешься ты и начинается что-то иное, когда теряешь связь с окружающими — медленно, по капле, как вода уходит в песок, — тогда мир вокруг становится зыбким, ненадёжным, будто нарисованным на промокательной бумаге. Люди смотрят на тебя и говорят слова, но слова эти доходят не сразу — они застревают где-то на полпути, и ты видишь только шевелящиеся губы и пустые глаза. Ты пытаешься ответить, но твой язык не слушается. Ты улыбаешься, но улыбка выходит кривой, невпопад, и собеседник отводит взгляд, испуганный. Ты остаёшься одна. Всегда одна.

В древних мифах и старых легендах люди, которые слышали голоса, считались пророками. Они говорили с невидимыми — с богами, демонами, духами предков, — и им верили. Их сажали у тронов, их кормили с золотых блюд, их слова записывали в священные книги. Никто не называл их сумасшедшими. Никто не прятал их в каменных мешках за железными дверями. Они были избранными, отмеченными, возвышенными над толпой. Но это было давно. Время пророков прошло, и теперь тех, кто слышит голоса, называют по-другому. Их называют больными. Их накачивают нейролептиками до состояния безвольной куклы. Их запирают в палатах с решётками на окнах и забывают о них, как забывают о сломанных вещах, выброшенных на чердак.

Представь: ты лежишь в тишине и слышишь.

Не шум ветра за окном. Не тиканье часов в коридоре. Не скрип половиц под чьими-то осторожными шагами. Ты слышишь голос. Он звучит не снаружи — он рождается где-то внутри черепной коробки, прямо над левым ухом, в том месте, где, кажется, нет ничего, кроме серого вещества и электрических импульсов. Он тихий, вкрадчивый, почти ласковый. Он говорит тебе то, чего ты боишься больше всего. Или то, чего ты тайно желаешь. Или просто комментирует твои действия — скучно, монотонно, как диктор закадрового текста: «Она встала. Она пошла на кухню. Она открыла кран. Какая глупая. Какая никчёмная. Лучше бы она умерла». И самое ужасное — ты не можешь отличить этот голос от собственного внутреннего монолога.

Где заканчиваешься ты и начинается он? Может, это и есть ты? Может, ты всегда была такой — раздвоенной, расщеплённой, с трещиной посередине души?

Маргарита Сергеевна впервые услышала этот голос в четыре года. Она не знала слово «шизофрения». Она не знала, что её мозг работает иначе, чем у других детей. Она знала только одно: каждое пробуждение, если рядом не было взрослого, вызывало дикий, парализующий страх. Ей казалось, что её оставили навсегда. Что мама ушла и не вернётся. Что она одна в пустом доме, и тишина вокруг — это не просто отсутствие звуков, а что-то живое, плотное, враждебное, что сейчас сомкнётся вокруг неё и задушит. Она лежала в кроватке, боясь пошевелиться, боясь позвать, потому что боялась не услышать ответа. Иногда она плакала — беззвучно, уткнувшись лицом в подушку, чтобы тишина не услышала её слёз.

Отец умер, когда ей было три. Она почти не помнила его — только запах: табак, бензин, что-то тёплое, мужское. И руки — большие, с тёмными волосками на пальцах. Он подбрасывал её к потолку, и она смеялась, запрокидывая голову, и люстра в гостиной кружилась, как карусель. А потом он ушёл на работу и не вернулся. Сердце. Ей сказали: «Папа теперь на небе». Она не поняла, что это значит. Она ждала его каждый вечер, стоя у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. Она верила, что он вернётся. И эта вера не умерла в ней ни в пять, ни в десять, ни в четырнадцать лет.

С четырёх до четырнадцати лет она периодически видела его в толпе. На рынке, среди торговых семечками и мясных рядов, мелькала знакомая спина в серой кепке — и сердце захолело, дыхание перехватывало, она бежала, расталкивая людей, хватала человека за рукав, и он оборачивался — чужой. Совсем чужой. Непохожий. Испуганный её безумным, голодным взглядом. Она извинялась, отступала, но через неделю или месяц всё повторялось снова. Это было не воображение, не игра, не каприз. Она действительно видела его. Её мозг, повреждённый ещё в утробе или с рождения — кто теперь разберёт? — дорисовывал реальность, вклеивал отца в чужие лица, и для неё это было более настоящим, чем всё остальное.

К восьми годам голос внутри стал громче. Он уже не просто шептал — он требовал, приказывал, насмехался. И тогда она начала повреждать себя. Это случилось не вдруг — она подбиралась к этому медленно, как зверь к водопою. Сначала просто расчёсывала кожу на руках до красноты, потом до крови. Потом начала отрывать кусочки кожи с губ — маленькие, тонкие, почти прозрачные, — и разглядывать их на ладони, прежде чем сбросить на пол. Боль была не наказанием, а облегчением. Она заглушала голос. Когда телу больно, голос внутри замолкает — это Маргарита поняла рано и пользовалась этим знанием, как наркоман пользуется дозой. Она не давала ранкам заживать: сдирала корочки, присыпала солью, мазала какой-то едкой дрянью, найденной в аптечке. Она выдирала пряди волос — по одному волоску, медленно, часами, сидя перед зеркалом и глядя, как на виске образуется проплешина, розовая и блестящая. Мать била её за это. Кричала. Плакала. Но Маргарита не могла остановиться. Боль стала её ритуалом, её молитвой, единственным способом доказать себе, что она существует.

В шестнадцать лет она попала в больницу впервые. До этого были вызовы скорой, были визиты участкового психиатра, были таблетки — горстями, разноцветные, — которые она выплёвывала в унитаз. Но в шестнадцать всё стало серьёзно. Она перестала говорить — совсем. Не отвечала на вопросы, не реагировала на имя, сидела целыми днями в углу комнаты, раскачиваясь и напевая что-то себе под нос. Мать испугалась. Вызвала врача. Её забрали.

Больница оказалась не больницей, а тюрьмой. Длинный серый коридор, крашеный масляной краской до середины стены, и дальше — побелка, грязная, в жёлтых подтёках. Запах — хлорка, моча, варёная капуста, что-то ещё, неуловимое, медицинское, от чего першило в горле. Окна с решётками. Двери без ручек с внутренней стороны. И люди — тени людей, — в одинаковых застиранных халатах, с одинаковыми пустыми лицами, медленно бредущие по коридору, как сомнамбулы.

Главный врач отделения, Виктор Аркадьевич Савельев, встретил её улыбкой. Высокий, статный, с аккуратной седой бородкой и холодными голубыми глазами — он был похож на профессора из старого кино, на доброго доктора, который лечит словом и взглядом. Маргарита поверила ему сразу. Она не знала тогда, что за этой улыбкой прячется чудовище.

Савельев вызывал пациенток в свой кабинет по вечерам. Кабинет был большой, с кожаным диваном и книжными шкафами до потолка, с настольной лампой под зелёным абажуром, которая горела всегда — даже днём, даже когда в этом не было нужды. Он запирали дверь изнутри — мягкий щелчок замка, и ты понимаешь, что выхода нет. То, что происходило дальше, не было лечением. Это был ритуал насилия, холодный, методичный, лишённый даже проблеска человеческой страсти. Он не кричал, не угрожал — он просто делал своё дело, как мясник разделывает тушу, и при этом сохранял на лице выражение спокойной, почти отеческой заботы. «Так надо, Рита, — говорил он, застёгивая ремень. — Ты же хочешь выздороветь? Это часть терапии». И она верила. Потому что верить было легче, чем признать, что она попала в лапы к садисту.

Одна девушка из соседней палаты, тоненькая первокурсница с трясущимися руками и вечно испуганными глазами, попыталась написать жалобу. Настоящую, на бумаге, с фактами и датами. Савельев прочитал её — каким-то образом бумага оказалась у него на столе, хотя девушка клялась, что никому не показывала. Он улыбнулся. На следующий день первокурснице диагностировали «острейший параноидный синдром» и перевели в закрытое отделение для буйных. Через неделю её не стало. Официально — сердечная недостаточность. Неофициально — передозировка. Никто не проверял. Кому какое дело до сумасшедшей девчонки?

Персонал был под стать главврачу. Санитары и санитарки, набираемые по объявлению в районной газете за грошовую зарплату, быстро превращались либо в равнодушных автоматов, либо в садистов. Хроников они называли «мясом». «Мясо не лечат, мясо хранят», — говорила санитарка Зинаида, грузная женщина с красным лицом и руками-лопатами, которая могла одной рукой скрутить взрослого мужика и швырнуть его на койку. Она курила прямо в палате, стряхивая пепел на пол, и рассказывала молодым практиканткам, что здесь главное — не жалеть, жалеть нельзя, пожалеешь — сожрут.

Одна из санитарок, немолодая, с крысиным, острым лицом и бегающими глазками, взяла под «покровительство» мальчика из детского отделения. Звали его Алёша, ему было двенадцать. Тихий, забитый, с заиканием и вечно мокрыми от слёз глазами. Санитарка находила в нём особый объект для заботы: за любое нарушение распорядка — не там встал, не так посмотрел, не вовремя заговорил — она тянула его за ухо пока его ноги не отрывались от земли, он висел и считал секунды. Иногда досчитывал до ста двадцати. Затем она вкалывала ему внеочередной укол нейролептика. Мальчик превратился в растение: слюнявый, с остекленевшим взглядом, он часами сидел в углу палаты и раскачивался, как заведённый. Персонал делал вид, что ничего не происходит. Пациенты молчали — каждый боялся за себя. Но однажды Алёша, собрав остатки воли, пришёл к заведующей отделением и, заикаясь так, что слова было почти не разобрать, рассказал о пытках. Случилось чудо: заведующая выслушала. Поверила. Санитарку вызвали на ковёр, уколы прекратились. Но не уволили. Таких, как она, хватало, а желающих работать в этом аду за копейки находилось немного. Ей вынесли замечание и оставили. Через месяц она снова дежурила в том же отделении, и Алёша, увидев её в дверях, забился в истерику, крепко прижимая ладони на ушах.

Маргарита провела в этой больнице три года. Три года она училась выживать: не смотреть в глаза, не спорить, не жаловаться, притворяться спокойной и послушной. Она поняла: чем ты незаметнее, тем выше шанс выйти отсюда живой. Она научилась улыбаться врачам и глотать таблетки, не запивая. Она научилась молчать. И когда её наконец выписали — с пометкой «стойкая ремиссия», — она вышла за ворота с одним-единственным желанием: забыть. Стереть из памяти эти стены, эти запахи, эти лица.

Но стены уже жили внутри неё, а голоса куда-то ушли. Они вросли в сознание, как корни в мёрзлую землю, и ждали своего часа. Они передались по наследству — невидимая трещина в генетическом коде, которая однажды должна была раскрыться снова.

Мать Маргариты, Зоя Павловна, была женщиной практичной и жесткой, как крестьянский нож. Рано овдовев замуж больше не вышла. Она не понимала, что такое шизофрения — да и не хотела понимать. Для неё болезнь дочери была не болезнью, а блажью, дурным характером, «бесноватостью», которую надо было скрывать от соседей, как скрывают заразную хворь. Когда Маргариту выписали из больницы с пометкой «стойкая ремиссия», Зоя Павловна выдохнула с облегчением — не за дочь, а за себя. Теперь главное было выдать её замуж, пока никто не понял, что девка с браком.

— Мужика тебе надо, Ритка, — говорила она, поджимая губы, — мужик из тебя дурь-то выбьет. Баба без мужика — что корова без стойла: орёт без толку и молока не даёт. Хватит уже в облаках витать, пора за землю держаться.

Маргарита молчала. После трёх лет больницы, после Савельева, после аминазина и привязных ремней она вообще говорила мало. Она научилась соглашаться с тем, что ей говорят, — это был её способ выживания. Если мать говорит «замуж» — значит, замуж. Какая разница? Один мужчина, другой мужчина — все они одинаковы. Все хотят одного и того же. В больнице она поняла: сопротивление бесполезно. Лучше расслабиться и переждать. Тело — это просто тело. Оно не имеет значения.

Егор Степанович Кривцов подвернулся быстро. Сватовство организовала та же Зоя Павловна — через каких-то знакомых знакомых. Егор был шофёром, возил грузы между районами, имел свой «КамАЗ» и репутацию человека непутёвого, но при деньгах. Ему было двадцать восемь — на восемь лет старше Маргариты. Он был высок, жилист, с крупными руками, вечно пропахшими соляжкой, и с глазами, которые раздевали любую бабу ещё до того, как она успевала представиться. Либи́до у него было такое, что деревенские кумушки судачили: «Егорка за день больше баб перебирает, чем иной за год». Он и сам этого не скрывал — наоборот, гордился.

Маргарита ему понравилась. Чем? Тишиной. Она была не похожа на других девок — не хихикала, не ломалась, не строила глазки. Сидела, опустив голову, и молчала. Егор решил, что это скромность. Он не знал, что за этим молчанием стоит другое: полное, абсолютное равнодушие ко всему, что с ней будет дальше.

Свадьбу сыграли скромно, в сельсовете. Зоя Павловна выдохнула: товар с рук сбыт. О шизофрении она, разумеется, не сказала ни слова. Зачем? Может, и не проявится больше. Может, обойдётся.

Первые недели Егор был доволен женой. Она не отказывала ему ни в чём — ни в одно из своих отверстий. Вообще никогда. Он мог разбудить её среди ночи, мог взять жёстко, без предисловий, мог потребовать того, что другие бабы отказывались делать даже по праздникам. Маргарита подчинялась молча, с тем же отсутствующим лицом, с каким глотала когда-то больничные таблетки, а теперь его семя. Её тело было здесь — худая, с острыми ключицами, с ещё не успевшими зажить шрамами от собственных ногтей, — но сознание уплывало далеко. Во время секса она смотрела в потолок и думала о чём-то своём. О голосах. О том, что они стали тише после выписки, но не исчезли совсем. Иногда, когда Егор особенно усердствовал, голос внутри начинал комментировать: «Сейчас он кончит. Потом перевернётся на спину и захрапит. Ты ему не жена. Ты дырка». Маргарита слушала и соглашалась.

Егор, однако, быстро заскучал. Жена-то безотказная — это хорошо, но скучно. Нет азарта, нет сопротивления, которое надо преодолевать. Ему хотелось праздника, а дома была тишина, нарушаемая только звуком его собственного пыхтения. И тогда он начал приводить друзей.

Сначала одного. Потом двух. Потом компанию — человек пять-шесть, все шофёры, все грубые, громкие, пахнувшие соляжкой и перегаром. Они садились на кухне, выставляли на стол самогон, закуску — какую бог послал, — и пили до одури. Маргарита подавала еду, убирала пустые бутылки и молчала. Друзья поначалу стеснялись — всё-таки жена, не шалава какая-то. Но Егор, подогретый самогоном, сам начал подшучивать:

— Да чё вы мне жену портите? Она у меня святая. Правда, Рит? — он хлопал её по задку, и она не вздрагивала. — Или не святая? А ну, иди сюда.

Он усаживал её к себе на колени, тискал при всех, и друзья ржали, глядя на это. Маргарита не сопротивлялась. Она сидела, как кукла, позволяя мужу делать с собой что угодно, и смотрела в одну точку на стене.

Первым, кто решился на большее, был Лёха Косой — худой, вертлявый мужик с бегающими глазами и вечно потными ладонями. В тот вечер Егор напился особенно быстро — устал за день, самогон пошёл в голову сразу. Он отрубился прямо за столом, уронив голову на руки. Лёха переглянулся с остальными и кивнул в сторону спальни, где Маргарита стелила постель.

— Рит, а Рит, — позвал он, заходя в комнату. — Егор спит. А нам скучно.

Она обернулась. В полумраке комнаты её лицо казалось совсем детским, испуганным, но только на секунду. В следующее мгновение оно снова стало пустым, как чистый лист. Она смотрела на Лёху и молчала.

— Ты это, — он облизнул пересохшие губы, — ты не бойся. Егор не узнает. Мы потихому. Ты только не кричи.

Она не закричала. Она вообще ничего не сказала. Она легла на кровать — так же спокойно, как ложилась каждую ночь, — и закрыла глаза.

Лёха вышел из спальни через полчаса, красный, взмокший, с дурацкой ухмылкой. Друзья встретили его молчаливым вопросом. Он кивнул: «Давай». И следующий пошёл. И следующий. В ту ночь Маргариту трахнули четверо — по очереди, молча, пока муж спал в соседней комнате, уронив голову в тарелку с квашеной капустой.

Это стало ритуалом. Егор продолжал пить - и чем дальше, тем быстрее он отключался, в помощь пришел димедрол подсыпанный «друзьями» в водку. Иногда он даже не доходил до стола: засыпал на пороге, на диване, на полу. Друзья оттащивали его в сторону и шли к Маргарите. Она не отказывала никому и никогда. Не потому, что ей это нравилось. Не потому, что она боялась. Просто ей было всё равно. Три года в больнице научили её: тело — это расходный материал. Им пользуются врачи, санитары, мужья, друзья мужей. Какая разница? Главное — чтобы не трогали душу. А душа её была далеко — в том самом сером коридоре, где она была в безопасности, где никто не мог её достать.

Друзья Егора поначалу чувствовали что-то похожее на стыд. Но очень быстро привыкли. Им даже нравилось: не надо уговаривать, не надо убалтывать, никаких истерик и угроз «расскажу мужу». Просто заходишь в спальню — и делаешь что хочешь. Маргарита была удобной. Как старая мебель: не жалуется, не просит, не требует. «Рита три визита» — так её называли за глаза, и в этом прозвище не было ни капли уважения. Только брезгливая признательность.

Однажды вечером, когда очередной гость пыхтел над ней в темноте, она вдруг заговорила. Не с ним — с кем-то другим, кто стоял в углу комнаты и смотрел на происходящее.

— Ты опять здесь, — сказала она спокойно, глядя в тёмный угол. — Я думала, ты ушёл.

Гость замер. Оглянулся. В углу никого не было — только шкаф и тень от лампы. Он почувствовал, как по спине пробежал холодок.

— Ты чё, Рит? С кем ты?

— Не обращай внимания, — ответила она, и голос её был будничным, даже скучающим. — Это не тебе. Продолжай.

Он попытался продолжить, но возбуждение пропало. Он торопливо оделся и вышел, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. В кухне друзья встретили его вопросительными взглядами.

— Она там с кем-то разговаривает, — сказал он, наливая себе полстакана самогона. — В углу никого нет, а она говорит. Психованная она, что ли?

— Да брось, — отмахнулся кто-то. — Показалось.

Но через неделю случилось снова. На этот раз Маргарита, лёжа под очередным гостем, вдруг громко, отчётливо произнесла:

— Бес, убери шприц. Я не буйная. Я тихая. Я самая тихая в отделении.

Гость отпрянул. Рита сошла с кровати взяла ножницы с тумбочки и приложила их к уху, как трубку телефона. На этот раз это слышали все — голос Маргариты разнёсся по дому, и в нём было что-то нечеловеческое, механическое, как у заезженной пластинки. Егор, которого как раз пытались растолкать, поднял голову и мутно уставился на дверь спальни.

— Чё она там орёт? — пробормотал он и снова уронил голову.

С этого дня друзья стали нервничать. Рита три визита перестала быть просто удобной — она стала жуткой. Никто не знал, что она выкинет в следующий раз. Может, начнёт кричать. Может, схватит нож. Может, пойдёт к участковому — но ей вряд ли поверят, сумасшедшая же. Но всё равно: связываться с безумной — себе дороже.

Вечеринки стали реже. Потом и вовсе переехали в другое место — к Лёхе Косому. Друзья Егора нашли себе других женщин — таких же безотказных, но без голосов в голове. Маргарита осталась одна — с мужем, который по инерции продолжал на неё залезать раз в неделю, и с голосами, которые постепенно становились всё громче.

В этот период она забеременела первенцем. От кого — неизвестно. Может, от Егора. Может, от Лёхи. Может, от кого-то из тех, кто в темноте спальни сменял друг друга, пока муж храпел в соседней комнате. Маргарита и сама не знала. Да и какая разница? Ребёнок родился, и его назвали Геннадием.

Теперь — несколько слов о наследственности, без которых непонятно, почему из четверых детей Маргариты Сергеевны болезнь выбрала только одного, а остальных обошла стороной. Но слов не сухих, не медицинских — а таких, какими говорят о подобных вещах в деревнях, где учебников не читают, но жизнь наблюдают внимательно.

Представьте себе поле. Огромное, засеянное пшеницей. Сто колосьев — сто человек. Один из них однажды сломается не от ветра, не от града, а изнутри — потому что в зерне, из которого он вырос, была микроскопическая трещина. Откуда она взялась — бог весть. Может, морозом ударило, когда зерно ещё лежало в земле. Может, птица склюнула оболочку. Может, просто не повезло. Это и есть шизофрения в общей популяции: один колос из ста.

Теперь представьте другое поле — маленькое, на четыре колоска. Это дети Маргариты. На этом поле трещина в зерне — не случайность, а наследство. Мать передала каждому из четверых одно и то же зерно, с одной и той же слабостью. Но слабость — это ещё не болезнь. Это как получить в наследство не сам пожар, а только спички. Загорятся они или нет — зависит от погоды. От того, насколько сухим выдалось лето. От того, не подойдёт ли кто с огнём.

В деревнях про такие вещи говорят проще: «Бог метит шельму». Или: «Яблочко от яблоньки недалеко падает». Но с шизофренией это работает не так прямо. Если бы всё решали только гены — как цвет глаз или форма носа — то все четверо детей Маргариты были бы больны. Или все четверо здоровы. Но природа устроена сложнее. Она играет в кости. Подбрасывает генетические кубики при каждом зачатии, и выпадает то шестёрка, то единица.

Если один родитель болен, риск для ребёнка — примерно десять-тринадцать процентов. На языке образов это значит: из десяти детей такого родителя только один услышит голоса. Остальные девять пройдут по самому краю пропасти, но не упадут. У Маргариты было четверо. Статистика говорила: скорее всего, болезнь не достанется никому. Но статистика — это не

приговор, а лотерея. Можно купить сто билетов и не выиграть ничего. А можно купить один — и сорвать джекпот.

Кому достаётся джекпот чаще — мальчикам или девочкам? Если посмотреть на мир как на большую больничную палату, то мужчин в ней окажется чуть больше. Примерно семеро на пятерых женщин. Почему — никто толком не знает. Опытные психиатры говорят: шизофрения у мужчины — это пожар в соломе. Вспыхивает рано, горит жарко, сжигает всё быстро. У женщины — торфяной пожар. Тлеет годами, незаметно, и прорывается наружу позже, иногда после родов, иногда после сорока.

Еще один фактор — здоровый отец. Существует ли в нём антидот? Здоровый родитель даёт ребёнку не просто вторую половину хромосом — он даёт устойчивость. Как если бы в доме, построенном из хрупкого материала, часть стен укрепили дубовыми балками. Дом всё равно может рухнуть при сильном землетрясении, но простоит дольше, чем тот, что построен целиком из хвороста.

У Егора Степановича не было шизофрении. Но были другие дары: алкоголизм, жестокость, равнодушие. Его гены не лечили — они просто не добавляли новых трещин. И всё же в его наследстве было нечто, что психиатры называют «протективным фактором», а деревенские бабки — «крепкой породой». Грубая, животная сила, которая не даёт сознанию расколоться, даже когда оно трещит по швам.

Но главный антидот — не гены. Главный антидот — любовь. Не та, о которой пишут в романах, а простая, телесная, ежедневная. Когда ребёнка берут на руки не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы согреть. Когда на его плач отвечают не криком, а голосом. Когда его кормят не по расписанию, а когда он голоден. Всё это — как вода для того самого поля. Достаточно воды — и колос вырастет крепким, даже если зерно было с трещиной. Недостаточно — трещина разойдётся, и колос сломается.

У детей Маргариты воды не было. Была засуха. И все четверо выросли на сухой земле, под палящим солнцем равнодушия.

Геннадий оказался первым, и ему повезло.

С первых дней жизни он был ребёнком, который словно понимал: рассчитывать можно только на себя. Маргарита, истощённая беременностью и родами, провалилась в послеродовую апатию — она лежала на диване, отвернувшись к стене, и не реагировала на плач младенца. Генка плакал час, два, три — а потом замолкал, обессиленный. Соседка, зашедшая провести роженицу, нашла его синюшным от холода, с мокрыми пелёнками, которые не меняли, кажется, со дня выписки из роддома. Она выходила его — поила козьим молоком из пипетки, грела в корыте с тёплой водой, — и, возможно, именно эти несколько недель соседской заботы заложили в нём тот фундамент устойчивости, которого не хватило другим детям.

К двум годам Генка уже говорил короткими предложениями. К трём — сам одевался, сам ел, сам убирал за собой игрушки, которых, впрочем, почти не было. Он рано понял, что мать — не опора. Она могла сидеть на кухне, глядя в одну точку, пока он, трёхлетний, пытался дотянуться до кружки на столе. Могла не ответить на вопрос, заданный десять раз подряд. Могла внезапно заплакать или засмеяться без причины, и Генка научился различать эти состояния по едва уловимым признакам: если мать начинает раскачиваться — лучше уйти в другую комнату; если замирает с открытым ртом — можно подойти и попросить поесть, но быстро, пока она снова не уплыла.

Он рос умным и самостоятельным не потому, что его таким воспитывали, а потому что альтернативой была смерть. В четыре года он уже умел разогревать кашу на плите — подставлял табуретку, зажигал спичку, следил, чтобы молоко не убежало. В пять — ходил в магазин за хлебом, сжимая в кулаке смятые рубли. В шесть — встретил из роддома мать с маленькой Анной на руках и молча взял на себя заботу о новорождённой, потому что мать снова легла лицом к стене и не вставала.

Рите никто не помогал. Зоя Павловна, мать Маргариты, к тому времени уже умерла — тихо, незаметно, от инсульта, — и её смерть не вызвала у дочери ни слёз, ни слов. Соседи, когда-то помогавшие с Генкой, охладели: свои заботы, свои дети. Егор пропадал в рейсах и возвращался только затем, чтобы напиться, овладеть женой и снова исчезнуть. Маргарита осталась одна — с двумя детьми, с голосами в голове и с телом, которое снова начало округляться третьей беременностью.

Но дети — вот что было удивительно — росли здоровыми, послушными и умными. Будто природа, отняв разум у матери, вложила его в детей с избытком. Генка и Анна были тихими, серьёзными, не по годам рассудительными. Они не бегали по дому с криками, не устраивали истерик, не просили игрушек — потому что знали: не дадут. Они играли вдвоём, в углу, с деревянными чурбачками, которые Генка вырезал перочинным ножом. Они разговаривали шёпотом, чтобы не потревожить мать. Они были как два маленьких взрослых, запертых в детских телах.

Егор, когда бывал дома, смотрел на сына с тяжёлым, непонятым чувством. Генка рос крепким, жилистым, с острым подбородком — и на этом подбородке, если присмотреться, виднелась ямочка. Маленькая, едва заметная, но несомненная. Такая же ямочка была у Лёхи Косого. Думы.

Увидев эту ямочку у Генки, Егор в первый раз почувствовал что-то вроде укола под рёбра. Он гнал эти мысли. Мало ли у кого какие ямочки? У его собственного деда, тоже была ямочка на подбородке — он смутно помнил старика, умершего, когда Егору было семь.

Но всякий раз, когда мысль о ямочке возвращалась — а она возвращалась, стоило ему взглянуть на сына при дневном свете, — Егор тащил в спальню Маргариту, и анально наказывал ее, чтоб не понесла. Гнев отпускал его ровно в тот момент, когда он кончал, — и вместе с семенем из него будто вытекала и подозрительность, и ревность, и страх. Он откатывался от жены, тяжело дышал и думал: «Нет, это дедова ямочка. Точно дедова». И засыпал спокойно. До следующего раза.

Маргарита терпела всё — и Егора, и его друзей, и боль, и унижение. К тому времени, когда ей было двадцать шесть, она уже окончательно перестала различать, где заканчивается её тело и начинается тело другого человека. Муж, любовник, врач, санитар — все они слились в одно многорукое, многоглазое существо, которое приходило, делало с ней что-то и уходило. Её тело принадлежало всем. Её сознание — никому. Даже ей самой.

Дочь Анна была единственной, кого Егор любил. Не так, как любят детей в книгах — с объятиями, с поцелуями перед сном, с подарками на день рождения. Он вообще не умел так любить. Он любил её так, как любит старый пёс щенка: настороженно, неуклюже, но готовый порвать любого, кто подойдёт слишком близко.

Когда Аннушка родилась, Егор впервые за много лет задержался дома дольше чем на неделю. Он сидел у люльки, смотрел на крошечное личико и хмурился — не от злости, а от какого-то непонятого ему самому волнения. Девочка была не в него. И не в Маргариту. Она была — вылитая бабка, мать Егора, которую он помнил хорошо: карие глаза, длинные густые волосы, которые даже у младенца уже вились на затылке, и какой-то особенный, спокойный взгляд. Не пустой, как у Маргариты, а именно спокойный — будто она уже всё понимает, только сказать пока не может.

— Мать моя, — сказал он однажды вслух, склонившись над люлькой. — Ну вылитая мать.

Маргарита, лежавшая лицом к стене, не ответила. Она вообще редко отвечала. Но Егору в этот раз было всё равно. Он впервые почувствовал что-то, отдалённо похожее на отцовство — не то чтобы он считал себя отцом, — а просто: вот это — моё. Это я сделал. И сделал хорошо.

Анна росла смышлёной. Она рано научилась читать настроение отца — по тому, как он входит в дом, как ставит сапоги, как дышит. Если дышит ровно — можно подойти, показать рисунок, спросить что-то. Если сопит и смотрит исподлобья — лучше уйти в угол и не высо-

вываться. Анна умела быть удобной и она находила слова, находила интонацию, находила тот самый ключик, который отпирал даже заржавевшую душу Егора.

— Эх, Аннушка, — говорил он иногда, сидя на крыльце и глядя, как она заплетает косичку кукле, — жалко, что ты бабой родилась.

— Почему жалко, пап?

— Потому что мужик из тебя вышел бы — ого-го. А бабе в этой жизни трудно. Бабу всякий обидеть может.

Она поднимала на него свои карие глаза и улыбалась:

— Я не дам себя обидеть. Ты же говорил: не давай.

— Говорил, — соглашался он и трепал её по голове своей огромной, пропахшей соляркой ладонью. — И не давай. А если кто тронет — скажи мне. Я ему ноги вырву и в задницу вставлю.

Потом, помолчав, добавлял — уже не ей, а куда-то в пространство:

— Будет у тебя муж — дурак наверняка попадётся. Я его уже сейчас хочу отлупить. Заранее.

Анна смеялась. Она вообще умела смеяться так, что в доме на минуту становилось светлее — даже Маргарита, бывало, поворачивала голову от стены, прислушиваясь к этому звуку, странному, почти забытому, как музыка из прежней жизни.

С Геннадием у Анны была связь особенная. Он был старше на шесть лет и когда она родилась, он воспринял её не как соперницу, не как обузу — а как что-то своё, родное, что нужно беречь. Маленький он стоял у люльки и смотрел на сестру с той же молчаливой сосредоточенностью, с какой смотрел на всё в своей жизни. Потом протянул палец — она ухватила крошечной ручкой, — и он сказал:

— Аня. Моя.

С тех пор так и повелось. Она была его, а он — её. Не в том смысле, в каком Егор считал своей Маргариту — как вещь, как собственность, — а в том, в каком два дерева, посаженные рядом, сплетаются корнями и уже не могут друг без друга.

Анна слушалась Геннадия — но не как мать, которая требовала подчинения, и не как отца, который требовал молчания. Она слушалась его, рассуждая. Если он говорил: «Не ходи туда, там опасно», — она спрашивала: «Почему опасно?». И он объяснял. И она кивала. А иногда не соглашалась: «Нет, Ген, ты не прав. Лучше сделать по-другому». И он — что удивительно — слушал. Потому что она часто оказывалась права. У неё был дар чувствовать то, что он, с его прямолинейным умом, не улавливал: настроения, оттенки, скрытые мотивы. Он был стратегом. Она — тактиком. Вместе они составляли почти идеальный организм, способный выжить в этом доме, в этой семье, в этой жизни.

Когда Геннадий болел простудой — что случалось нередко, потому что дом отапливался плохо, а одежда была тонкой, — Анна садилась у его постели и не отходила, пока он не выздоравливал. Она делала компресс на голову — мокрое полотенце, сложенное вчетверо, которое она меняла каждый час, — а в носки сыпала крупную соль. Этому её научила соседка, та самая, что когда-то выходила Генку младенцем. Соль грела, компресс охлаждал, а её присутствие — тихое, спокойное, без суеты — лечило лучше всяких лекарств.

— Генушка, — говорила она, меняя компресс, — ты только не умирай. Ты мне нужен.

— Не умру, — отвечал он сквозь жар. — У меня ещё дел много.

— Каких дел?

— Тебя вырастить. Потом уехать отсюда. Тебя забрать.

А Анна и Геннадий были друг у друга. И когда он поправился, она слегла сама — простудилась, ухаживая за ним. И тогда он сидел у её постели, менял компресс, сыпал соль в носки, носил горячий чай, который сам заваривал, взбираясь на табуретку. И повторял её же слова:

— Аннушка, ты только не умирай. Ты мне нужна.

Их отношения были тем редким, что случается не в каждой семье и не в каждом поколении. Сразу было понятно — даже соседям, даже случайным прохожим, — что эти двое пройдут через жизнь крепкой дружбой, которая не сломается ни от расстояния, ни от времени, ни от чужих вмешательств. Они были как две половины одного целого, случайно разделённые разными телами. И когда через много лет Геннадий уедет в Новосибирск, а Анна — в Краснодар, они будут звонить друг другу раз в неделю, и он будет начинать разговор словами: «Ну что, Аннушка, как дела?», а она отвечать: «Всё хорошо, Генушка. Рассказывай, как ты». И в этом «всё хорошо» будет столько тепла, что никакое расстояние не сможет его остудить.

Но это будет потом. А пока — Геннадию десять, Анне четыре и Маргарита снова беременна. И в доме снова тишина — не спокойная, а та, что бывает перед бурей. Потому что голоса в голове Маргариты уже не шепчут — они кричат. И никто из детей ещё не знает, что эта буря достанется не им двоим, а той, что была зачата в злости и у которой трещина в генетическом коде раскрылась. И имя ей — Василина.

К осени 1974 года Маргарита снова начала заговариваться. Это происходило постепенно — как всегда, — но Егор уже научился распознавать признаки. Сначала она переставала отвечать на вопросы. Потом начинала смотреть в одну точку. Потом — шептать что-то себе под нос, и лицо её при этом менялось, становилось чужим, словно ею управляли изнутри, как марионеткой. Егор не знал, что такое шизофрения, но понимал: эта баба не в себе. Пора за таблетками.

— Собирайся, — сказал он ей утром, бросая на стол направление из районной поликлиники. — Поедешь в город. К психиатру. Выпишут тебе колёса, будешь тихая.

Маргарита не ответила. Она сидела на табуретке, раскачиваясь, и смотрела в окно, хотя за окном ничего не было — только серое небо и голые ветки.

— Слышишь меня? — он повысил голос. — Поедешь, говорю. Нечего тут представления устраивать.

Она медленно перевела на него взгляд и кивнула. Егор выдохнул. Ему не хотелось везти её самому — во-первых, некогда, во-вторых, стыдно перед людьми. Он купил ей билет на автобус, сунул в руку деньги на таблетки и забыл о ней до вечера.

Городская психиатрическая поликлиника помещалась в старом кирпичном здании на окраине. Это была та самая больница, где Маргарита провела три года, тот же запах: хлорка, варёная капуста, что-то неуловимо медицинское, от чего першило в горле. Она села в коридоре на деревянную скамью и стала ждать. Голоса внутри неё молчали — пока молчали. Но она знала, что они здесь. Они всегда здесь. Просто иногда затихают, как затихает радио между станциями.

— Кривцова! — выкрикнула медсестра. — К Бесову. Кабинет двенадцать.

Маргарита поднялась и пошла по коридору, считая двери. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Она постучала — сначала тихо, потом громче. Из-за двери ответили:

— Войдите.

Георгий Андреевич Бесов оказался молодым — лет тридцати, не больше. Но молодость его была некрасивой, какой-то незавершённой, словно природа набросала его второпях и бросила, не доделав. Он был невысок, сутуловат, с узкими плечами и непропорционально крупной головой. Главное, что бросалось в глаза — челюсть. Тяжёлая, массивная, выдвинутая вперёд, как ящик старого комода. Она делала его лицо агрессивным, почти звериным. Маленькие глазки прятались за толстыми линзами очков, а редкие волосы были зачёсаны набок, открывая розовую лысину.

— Садитесь, — сказал он, не глядя на пациентку. Он листал какие-то бумаги, и пальцы его были короткими, с обкусанными ногтями. — Кривцова Маргарита Сергеевна. Год рождения — сорок пятый. Диагноз... — он пробежал глазами по строчкам, — шизофрения параноидной формы. На учёте с шестьдесят первого. Жалобы?

Маргарита молчала. Она рассматривала кабинет: шкаф с папками, кушетка, застеленная клеёнкой, скелет в углу, на стене — плакат с изображением человеческого мозга в разрезе. Всё было чужим, враждебным.

— Я спрашиваю: жалобы? — повторил Бесов, поднимая глаза.

И тут она услышала голос. Тот самый, знакомый, вкрадчивый. Он звучал не снаружи, а где-то внутри черепа, над левым ухом — но такой отчётливый, что, казалось, его слышит и врач.

— Скажи ему: маленький член, — шепнул голос. — Он боится, что у него маленький член. Поэтому он стал врачом. Чтобы иметь власть над теми, кто слабее.

Маргарита дёрнулась. Она не хотела это повторять. Но голос настаивал — ласково, соблазнительно:

— Скажи. Пусть покажет. Проверь. Пусть докажет, что не маленький.

— У тебя... — начала она и осеклась.

— Что у меня? — Бесов нахмурился.

— Маленький член, — закончила она, глядя ему прямо в глаза. — ты боишься, что у тебя маленький член. Покажи мне. Проверить. Пусть он покажет маленький член.

В кабинете повисла плотная тишина, такая, что было слышно, как в соседнем помещении капает вода из крана. Лицо Бесова медленно менялось. Сначала он побледнел — так, что лысина стала почти белой. Потом краска залила щёки, шею, даже уши. Маленькие глазки за очками сузились, челюсть сжалась так, что на скулах заходили желваки.

— Что ты сказала? — переспросил он шёпотом. Это был не вопрос. Это была угроза.

Маргарита не ответила. Она продолжала смотреть на него — но теперь её взгляд был расфокусирован, словно она видела не его, а кого-то другого, стоящего за его спиной. И в этом взгляде не было ни страха, ни смущения. Только пустота. И эта пустота вдруг заговорила — не с Бесовым, а с тем, невидимым, в углу кабинета.

— Он прячет, — сказала она кому-то в пространство, и голос её был скучным, будничным, как если бы она комментировала погоду. — У него очень маленький. Он стесняется. Не показывает.

Бесов пришел в ярость. Не от самих слов — мало ли что несёт сумасшедшая баба. Его задело другое: интонация. Она говорила о нём не как о человеке, а как о явлении. О предмете. О жалком насекомом, которое можно описать и забыть. Это была не злая насмешка — это было хуже. Это была констатация факта.

Именно в этот момент что-то внутри него — то, что он годами глушил работой, учёбой, белым халатом, диссертацией про нейролептики, — лопнуло. Не просто комплекс неполноценности. А целая плотина, за которой копилась злость. На мать, которая в детстве называла его «недоделанным». На первую девушку, которая после неудачной попытки близости расхохоталась и наутро рассказала всему институту. На всех женщин, которые, казалось, знали. Всегда знали. Даже когда молчали.

И теперь эта сумасшедшая, которая даже не понимает, что говорит, — она тоже знает. И не молчит.

— Ты, — прошептал он, и в этом шёпоте было больше угрозы, чем в ином крике. — Ты сейчас у меня узнаешь. Ты у меня проверишь.

Он не хотел секса. Он хотел заткнуть её. Заткнуть голоса в её голове, которые говорили правду. Заткнуть свой собственный голос, который твердил: «Она права, ты ничтожество, ты никогда не будешь мужчиной». И единственный способ — тот самый, которому его не учили в медицинском, но которому научила жизнь: если тебя унижают словами, ответь действием. Грубой силой. Тем, что у тебя есть. Тем, что ты можешь.

Он обошёл стол, подошёл к двери и запер её на ключ. Мягкий щелчок замка — и Маргарита вдруг перенеслась в прошлое в кабинет Савельева, где точно так же щёлкал замок, и

точно так же пахло хлоркой, и точно так же мужчина в белом халате смотрел на неё с ледяным оскалом.

— Нет, — сказала она, но голос прозвучал глухо, неуверенно. — Я не буйная. Я тихая. Я самая тихая.

— Ты сейчас будешь не тихая, — усмехнулся Бесов, расстёгивая брюки. — Ты сейчас будешь громкая. Чтобы знала, у кого какой член. Чтобы не вякала, дура.

Он не был красив в своей ярости. Он был жалок и смешон одновременно — с этой своей бульдожьей челюстью, с трясущимися от злости руками, с красной, покрытой испариной лысиной. Маленький член его действительно был мал — но сейчас это не имело значения. Значение имела только власть. Власть доказать, что он — мужчина. Что эта сумасшедшая баба, посмевавшая унизить его, — ничто. Пустое место. Дырка.

Он толкнул её на кушетку. Она не сопротивлялась — тело обмякло, стало податливым, как у тряпичной куклы. Сознание снова уплыло куда-то вверх, под потолок, откуда она наблюдала за происходящим с холодным, почти исследовательским интересом. Вот грузный, некрасивый мужчина насилует худую женщину на клеёнчатой кушетке. Вот женщина смотрит в потолок и что-то шепчет. Вот мужчина пыхтит, матерясь сквозь зубы, и его очки запотевают, сползают на кончик носа. Вот он кончает — быстро, почти сразу, — и отстраняется, тяжело дыша.

— Ну что? — сказал он, застёгивая брюки. Голос его дрожал, но теперь в нём слышалось не только злость, но и удовлетворение. — Убедилась? Не такой уж и маленький. Будешь знать. Будешь помнить.

Маргарита не ответила. Она лежала на кушетке, глядя в потолок, и по её щеке скатилась одинокая слеза — не горя, а какой-то физиологической реакции, не имевшей отношения к чувствам. Чувств не было. Была только пустота.

Бесов выписал ей рецепт — нейролептики, те же, что и всегда, — и вытолкал за дверь. Она вышла в коридор, села на ту же скамью и просидела там час, глядя в одну точку. Потом встала, купила в аптеке таблетки и поехала домой.

Через месяц она поняла, что беременна. В третий раз.

Она не знала, чей это ребёнок. Мог быть Егоров. Мог быть Бесова. Какая разница? Ребёнок — это просто ребёнок. Ещё один рот. Ещё одно тело, которое выйдет из её тела. Она носила его без радости, без отвращения, безо всяких чувств. Просто носила — как земля носит семя, не спрашивая, кто его бросил.

Но голоса знали. Голоса сказали ей: это дочь Бесова. Дочь с его челюстью. Дочь, которая родится с печатью насилия на лице. Дочь, которую назовут Чучелом. Дочь, которая вырастет и захочет власти — такой же, какую хотел её настоящий отец. Абсолютной. Развращающей. Убивающей.

И когда в декабре 1975 года на свет появилась девочка, и акушерка, взглянув на её личико, невольно поморщилась — «ну и челюсть, прости господи», — Маргарита уже знала. Она смотрела на дочь и не чувствовала ничего, кроме глухого, знакомого эха внутри черепа. Голоса молчали. Но они вернутся. И когда они вернутся в черепе этой девочки начнётся самое страшное.

Через неделю после родов, Маргарита Сергеевна пришла в сельсовет оформлять свидетельство о рождении третьего ребёнка. За окном валил снег — густой, декабрьский, залепляющий окна так, что в кабинете ЗАГСа даже днём горела лампа. Регистраторша — та же немолодая женщина в очках, что оформляла Геннадия и Анну, — уже узнала Маргариту и приготовила бланк.

— Фамилия?

— Кривцова. Кривцовы мы, — ответила Маргарита, глядя не на женщину, а куда-то в угол, где под потолком покачивалась паутина.

- Имя ребёнка?
- Василина.
- Отец?

Маргарита помедлила. Она слышала голос — тот самый, вкрадчивый, знакомый, — и голос этот звучал сегодня особенно отчётливо. Он говорил: «Отец — ребенка чёрт. Ты же помнишь песенку чёрта? Он приходил к тебе в больнице, помнишь? Он был нежным. Если не запишешь его — он обидится. А когда он обижается, он приходит и забирает то, что его по праву». Маргарита помнила. В больнице, после уколов, в полусне, к ней действительно приходил кто-то — не Савельев. Черт был лёгкий, бесплотный и насвистывал мелодию без слов, от которой внутри всё замирало. Иногда пел песню. Голос пропел песенку чёрта. «Я твой, Рита, — шептал он тогда. — Ты моя. Когда придёт время, я приду за своим».

— Отец — Юрий Григорьевич, — сказала Маргарита вслух, и голос её был спокоен, даже будничен.

Регистраторша подняла глаза вверх очков.

— Юрий Григорьевич? А Егор Степанович разве не муж вам?

— Муж, — кивнула Маргарита. — Но отец — Юрий Григорьевич.

— Как фамилия отца?

Маргарита на секунду задумалась. Голос подсказал, и она повторила:

— Чертов. Юрий Григорьевич Чертов.

— Какую фамилию будем писать Василине?

— Кривцова.

Регистраторша хмыкнула, но записала. Она давно привыкла к странностям: в сельсовет приходили пьяные, беременные, сумасшедшие — какая разница? Бумага всё стерпит. Она заполнила графы, поставила печать. Так Василина стала Юрьевной, дочерью Юрия Григорьевича Чертова, — человека, которого никогда не существовало, но который, если верить голосам, был ее отцом и очень обиделся бы, если бы его не записали, однако с фамилией Кривцова.

Егор узнал об этом только три года спустя, когда Василину оформляли в детский сад и потребовалось свидетельство о рождении. Он вертел бумагу в руках, шевелил губами, перечитывал, и лицо его наливалось тёмной, глухой злобой. Чертов. Юрий Григорьевич. Не Егор Степанович Кривцов, а какой-то Чертов.

— Ты чё, совсем уже? — он швырнул свидетельство на стол и уставился на Маргариту. — Это кто такой? Кого ты приписала?

Маргарита молчала. Она сидела на табуретке, раскачиваясь, и смотрела в стену.

— Это чей ребёнок? — орал Егор. — Чей?

Голоса молчали. Маргарита тоже молчала. Егор пнул табуретку, потом — стену, потом схватил свидетельство и швырнул его в угол.

Но переделывать не стал.

Не потому, что было лень или дорого. А потому что Василина ему не нравилась. С первой минуты, как он увидел её — красную, орущую, с тяжёлой челюстью и мутными глазками, — он почувствовал что-то вроде брезгливости. Она была не его. Он не знал, чья она — Бесова, Чертова, хоть самого дьявола, — но точно не его. И он не хотел, чтобы его считали её отцом. Пусть будет Юрьевна. Пусть катится к чертям собачьим. Ему всё равно.

Василина росла — и с каждым месяцем её отличие от старших детей становилось всё заметнее. Геннадий и Анна были тихими, послушными, самостоятельными. Они не плакали без причины, не устраивали истерик, не требовали к себе внимания. Василина начала требовать с первого дня. Она кричала — не так, как кричат голодные младенцы, а как-то иначе, пронзительно, надрывно, с визгом, от которого у Маргариты, даже в её полубессознательном состоянии, начинало звенеть в ушах. Этот крик был не про голод. Он был про «дайте мне». Дайте мне это. Дайте мне то. Дайте мне всё.

В десять месяцев она начала ходить. Не так, как ходят обычные дети — сначала ползком, потом неуверенными шажками вдоль стены, — а сразу, резко, словно ею управляла какая-то нетерпеливая сила. Она вставала на ноги, делала два-три шага и падала. Но вместо того чтобы заплакать, она начинала выгибаться дугой, биться затылком об пол и орать так, что соседи стучали в стену. Это были не капризы. Это были первые, ещё не оформившиеся судороги — не эпилептические, а истерические, психопатические, как потом скажут врачи, но врачей в их жизни ещё не было.

Однажды, когда Василине было около двух лет, она схватила за шею утёнка — маленького, пушистого, которого соседка держала в коробке на улице. Геннадий, гулявший с ней, увидел это слишком поздно. Он бросился к ней, но Василина уже сжимала пальцы — не из любопытства, не случайно, а целенаправленно, с каким-то странным, недетским наслаждением на лице. Утёнок пищал, бился, а она смотрела на него и улыбалась. Когда Геннадий разжал её пальцы, было уже поздно: утёнок обмяк, головка его безжизненно повисла. Соседка, выбежавшая на крик, замерла над коробкой. Она посмотрела на мёртвого утёнка, перевела взгляд на Василину — и вдруг, сама не зная почему, произнесла:

— Бесовка. Настоящая бесовка.

Слово прилипло. С тех пор соседка никогда не называла Василину по имени — только «бесовка». И Василина, что странно, не обижалась. Ей нравилось это слово. Оно звучало сильно. Опасно. Не так, как «Чучело», которым её дразнили позже в школе, — «Чучело» было про слабость, про уродство. А «бесовка» — про силу. Про то, что она особенная. Что она не такая, как все.

Ей нравилось, когда кого-то били. Это стало заметно рано — раньше, чем она научилась говорить предложениями. Если во дворе мальчишки дрались, она не убегала и не плакала, как другие дети. Она замирала на месте, смотрела, и на её лице появлялось то самое выражение — не просто любопытство, а голод. Однажды Егор, разозлённый на Геннадия, отвесил ему подзатыльник — тяжёлый, хлёсткий, так что у мальчика голова дёрнулась. Василина, наблюдавшая из угла, вдруг захлопала в ладоши и сказала:

— Ещё!

Егор замер. Он повернулся к ней, посмотрел на это личико с тяжёлой челюстью и горящими глазами и почувствовал что-то вроде холодка вдоль позвоночника. Он ничего не сказал — но с тех пор старался не наказывать детей при Василине. Не из жалости к ним — из брезгливости к ней. Он не хотел доставлять ей это удовольствие.

Маргарита разговаривала с голосами. Делала она это всё чаще — болезнь прогрессировала, и периоды «тишины» становились короче, а приступы — длиннее. Старшие дети привыкли и старались не замечать. Геннадий уходил в другую комнату. Анна тихо садилась в угол и делала вид, что читает.

Но Василине нравилось. Она садилась напротив матери — и слушала. Слушала, как мать спорит с кем-то, кто стоял в углу и кого никто, кроме неё, не видел. Как она смеётся без причины. Как она замолкает на полуслове, прислушиваясь к ответу, который не слышен никому, кроме неё. Василина смотрела и впитывала. Она не понимала, что это болезнь. Она понимала другое: есть мир, который видят все. А есть другой мир — невидимый, тайный, — и мать умеет в него входить. И она, Василина, тоже хочет.

Однажды, когда Маргарита особенно громко разговаривала с пустотой, Василина вдруг спросила:

— Мам, а они тебе отвечают?

Маргарита впервые за долгое время посмотрела на дочь осмысленно. И ответила:

— Да. Они говорят, что ты — моя. Самая моя.

Василина улыбнулась — не детской улыбкой, а какой-то взрослой, понимающей, — и сказала:

— Я знаю.

К лету 1978 года Василине исполнилось два с половиной года. Она уже говорила — мало, отрывисто, но достаточно, чтобы требовать. «Дай», «хочу», «моё», «бей» — последнее слово она выучила раньше, чем «мама». Оно выходило у неё особенно сочно, с присвистом, и звучало так, будто она пробовала его на вкус и находила сладким.

Лёха Косой к тому времени остепенился. Не то чтобы он бросил пить или стал примерным семьянином — просто возраст брал своё, да и баба попалась настырная, из соседнего села, которая быстро взяла его в оборот. У них родился сын Максим — на пять лет младше Геннадия, но внешне — как будто из одной глины лепили. Та же ямочка на подбородке, те же светлые вихры, та же манера стоять, расставив ноги и сунув руки в карманы. Когда они оказывались вместе — Геннадий и Максим, — соседки невольно оглядывались: «Братья, что ли?». Мальчишки и правда походили друг на друга больше, чем иные родные. И, несмотря на разницу в пять лет, они хорошо ладили. Геннадий, сам того не замечая, опекал Максима — учил его забивать гвозди, вырезать свистульки из веток, взбираться на старую яблоню. Максим тянулся к нему с молчаливым обожанием.

В тот день они играли во дворе. Геннадий строгал что-то перочинным ножом, Максим сидел рядом на корточках и смотрел. Анна, как всегда, крутилась поблизости — с тряпичной куклой, но кукла её не интересовала, она просто наблюдала за братом. Василина топталась у забора — ей было скучно. Ей всегда было скучно, когда внимание принадлежало не ей.

— Бей, — сказала она вдруг, тыча пальцем в Максима. — Гена, бей его.

Геннадий поднял голову. Ему было двенадцать, он уже многое понимал и ещё больше чувствовал. Он посмотрел на сестру — маленькую, с огромной челюстью, с глазами-буравчиками, — и покачал головой:

— Не буду. Он мой друг.

— Бей! — Василина топнула ногой. Голос её сорвался на визг. — Бей, бей, бей! Я хочу! Пусть бей! Пусть плачет!

Она ещё плохо говорила — предложения получались рваными, жесты опережали слова. Она показывала на Максима, потом на землю, потом сжимала кулачки и трясла ими в воздухе, требуя, чтобы Геннадий ударил мальчика. Максим испуганно смотрел на неё. Анна инстинктивно шагнула ближе к брату.

— Не буду я его бить, — твёрдо сказал Геннадий. — Иди в дом.

И тогда Василина завывала. Это был не плач — плачут от боли, от обиды, от страха. Это был именно вой — долгий, монотонный, пронзительный, механический, как сирена скорой помощи. Она стояла посреди двора, запрокинув голову, и выла на одной ноте, и звук этот был настолько неестественным, что у Анны заложило уши, а Максим вскочил и побежал к калитке.

На вой из дома вышел Егор. Он был зол — только что проснулся после вчерашнего, голова гудела, во рту стоял кислый привкус перегара. Он хотел рывкнуть, чтобы заткнулись, но осёкся. Потому что увидел Максима.

Мальчик стоял у калитки, вцепившись в щеколду, и смотрел на него испуганными глазами. Солнце падало на его лицо — и Егор увидел ямочку. На подбородке. Точно такую же, как у Геннадия. Точно такую же, как у Лёхи Косого.

Внутри у него что-то оборвалось.

Он не стал кричать на детей. Не стал выяснять, кто прав, кто виноват, почему Максим здесь и где его мать. Он просто развернулся и пошёл в дом. Медленно. Тяжело. Так, как ходят люди, которые приняли решение и теперь только ждут момента, чтобы его исполнить.

Маргарита была в спальне. Она лежала на кровати, отвернувшись к стене, и что-то шептала — голоса сегодня звучали громко. Она не слышала шагов мужа. Она слышала только, как скрипнула дверь, а потом — как щёлкнул ремень.

— Опять ты, — сказал Егор хрипло, и в голосе его не было ни страсти, ни желания — только глухая, тёмная ярость. — Опять ты мне наставила. Лехино отродье во дворе бегают, а ты тут валяешься.

Он не стал раздеваться. Он просто спустил штаны, перевернул жену на живот и вошёл в неё. Привычно. Грубо. В ту самую дверь, которую использовал, когда хотел наказать, а не получить удовольствие. Анальный секс был для него инструментом. Унижением. Местью.

Но в этот раз он был слишком пьян вчерашним. Слишком зол. Слишком ослеплён яростью. Вместо привычного отверстия он промахнулся и вошёл в другое. Маргарита дёрнулась, но не закричала — она никогда не кричала. Егор этого даже не заметил. Он сделал своё дело быстро, без слов, думая всё это время о ямочке на подбородке. О том, что Генка — не его. Что Лёха, друг, которого он сам приводил в дом, трахал его жену и сделал ей ребёнка. Что весь мир над ним смеётся.

Через минуту всё закончилось. Он отстранился, застегнул штаны и вышел, не сказав ни слова. Маргарита осталась лежать на кровати, глядя в стену. Голоса внутри неё сказали «Еще один». Они знали то, чего ещё не знала она: семя попало туда, куда не должно было попасть. И теперь из этого семени вырастет ещё один ребёнок. Четвёртый. Последний. Павел был зачат не в любви, не в страсти, не в равнодушном супружеском долге. Он был зачат в ярости. В промахе. В путанице отверстий, которая стала последней каплей в череде унижений, выпавших на долю Маргариты.

Василина, сидевшая во дворе, к тому времени уже перестала выть. Она сидела на земле, ковыряла палкой муравейник и улыбалась. Она не знала, что её вой запустил цепочку событий. Но она чувствовала — смутно, по-звериному, — что сделала что-то важное. Что её послушались. Пусть не Геннадий — но отец. Отец услышал её вой и пошёл наказывать. И это было хорошо. Это было правильно. Это было по ее.

Через девять месяцев, в 1979 году, родился Павел. Тихий, мелкий, словно испуганный ещё в утробе. Он не кричал, как Василина. Он почти не плакал. Он просто лежал в своей люльке и смотрел в потолок. И Маргарита, взяв его на руки в первый раз, почувствовала что-то, чего не чувствовала с остальными. Не любовь — этого она уже не умела. Но жалость. Глухую, тягучую, как зубная боль. «Ты тоже не виноват, — прошептала она, и голоса внутри согласно закивали. — Ты тоже не виноват. Ты просто ошибка».

В автобусе они оказались втроём: Маргарита, Геннадий и Василина. Ехали в райцентр — то ли за таблетками, то ли в поликлинику, то ли ещё за какой-то надобностью, которую теперь уже никто не вспомнит. Геннадию было тринадцать, он сидел у окна и смотрел на проплывающие мимо берёзы. Ему хотелось исчезнуть. Раствориться. Не быть здесь.

Маргарита сидела рядом с ним, на откидном сиденье. Василина — на коленях у матери, хотя в три года она была уже тяжеловата для этого. Но она всегда требовала, чтобы её держали, чтобы её касались, чтобы на неё смотрели. И сейчас она ёрзала, хватала мать за лицо, за волосы, за серёжку — просто чтобы привлечь внимание.

Где-то на середине пути Маргарита начала заговариваться. Сначала — тихо, почти неслышно, обращаясь к кому-то, кто сидел в проходе. Потом громче. Василина замерла на её коленях и уставилась на пустое место, куда смотрела мать. Глаза её расширились. Она не боялась — она была заморожена.

— Кто это? — спросила она громко, дёргая мать за рукав. — Кто там? Я тоже хочу видеть! Покажи мне!

Люди в автобусе начали оборачиваться. Геннадий сжался. Он положил руку на плечо матери и тихо сказал:

— Мам, перестань. На нас смотрят.

Маргарита не ответила. Она продолжала бормотать, и Василина, не сводя с неё глаз, вдруг тоже начала что-то шептать — неразборчиво, но в том же ритме, в той же интонации. Это было

похоже на жуткий дуэт: мать и дочь разговаривали с невидимками вместе, и лицо Василины светилось почти религиозным восторгом.

Геннадий выдержал, сколько мог. Когда автобус остановился на их остановке, он буквально вытащил обеих — мать за руку, сестру под мышку, — и всю дорогу до дома молчал, стиснув зубы.

— Почему они смотрели? — спросила Василина, когда они уже подходили к дому. — Почему они испугались?

— Потому что так нельзя, — сказал Геннадий.

— Нет, можно, — ответила она, и в голосе её прозвенел металл. — Мама разговаривает с теми, кого никто не видит. И я буду. Вот увидишь.

Геннадий промолчал. Но вечером, когда Василина уснула, он сказал Анне — тихо, чтобы никто не слышал:

— Она страшная. Ты её бойся. Я уеду — ты бойся её.

Анне было семь. Она и так боялась.

Она боялась Василину с самого её рождения. Боялась её криков, от которых закладывало уши. Боялась её приступов — когда Василина падала на пол и билась головой, требуя своего. Боялась её глаз — недетских, цепких, оценивающих. Василина подходила к Анне, гладила её по волосам — слишком сильно, почти выдирая, — и говорила: «Ты моя. Ты должна меня любить». Анна молчала, но внутри у неё всё сжималось в тугую, холодную ком.

— Она меня обижает, — сказала однажды Василина отцу, когда Егор вернулся из рейса. — Аня меня обижает. Она меня толкнула.

Егор посмотрел на Анну — та стояла в дверях, прижимая к груди тряпичную куклу, и молчала. Глаза у неё были сухими. Она не плакала, не оправдывалась — просто стояла и ждала.

— Толкнула? — переспросил Егор.

— Толкнула, — подтвердила Василина, и для убедительности всхлипнула. — Сильно. Вот сюда. — Она показала на плечо. — У меня синяк будет.

Егор перевёл взгляд на Анну. Та по-прежнему молчала. Потом тихо сказала:

— Я её не толкала. Она сама ударилась об косяк, когда бегала. И сказала, что скажет тебе, что это я. Чтобы ты меня наказал.

Егор снова посмотрел на Василину. Та уже не плакала — она смотрела на него тем самым голодным взглядом, ожидая продолжения. Ждала, что сейчас отец врежет Анне, как врезал Геннадию месяц назад. Ждала, что боль случится. Ждала, чтобы насладиться.

— А ну иди сюда, — сказал Егор.

Василина шагнула к нему, почти облизываясь. Он схватил её за плечо — не сильно, но крепко, — развернул и подтолкнул к двери.

— Ещё раз соврётся — получишь ремня. Поняла?

Она посмотрела на него с ненавистью — чистой, незамутнённой, — и вышла. А Егор сел на табуретку и закурил. Он понимал: эта девка будет врать. Всегда. И он ничего не сможет с этим сделать. Потому что она — не его. И никогда не была его.

В соседней комнате Маргарита раскачивалась и шептала что-то невидимому собеседнику. Василина сидела рядом с ней на полу и повторяла за матерью слова — бессмысленные, но звучавшие почти как молитва. Анна тихо плакала в подушку. Геннадий писал в тетрадке план побега — уже не в мечтах, а всерьёз, с датами, с суммами, с маршрутами.

Бесовка росла. И никто в этом доме ещё не знал, что через много лет она получит ту власть, о которой просила. И тогда утятами станут люди. И головы будут сворачивать не из любопытства, а из принципа. Потому что власть — это когда ты можешь всё, и тебе за это ничего не будет. Совсем ничего.

Василина пошла в первый класс в 1982 году. Ей было шесть, и она ждала этого дня с таким нетерпением, с каким другие дети ждут дня рождения. Она была уверена: школа станет тем местом, где её наконец оценят по достоинству. Где она будет лучшей. Где учительница скажет ей те самые слова, которых она не слышала от матери и никогда не слышала от отца: «Ты молодец».

Первые две недели всё шло хорошо. Она сидела за первой партой, тянула руку на каждом уроке, выкрикивала ответы, не дожидаясь, пока спросят. Учительница, немолодая женщина с усталым лицом, поначалу хвалила её за старание. Но очень быстро заметила то, что замечали все, кто имел дело с Василиной: старание было не про знания. Оно было про внимание. Про то, чтобы смотреть на неё. Чтобы называть по имени. Чтобы ставить в пример. Знания при этом плавали где-то на поверхности — она могла вызубрить правило, но не понимала его; могла прочитать текст, но не пересказать своими словами. Память у неё была короткая, цепкая только на чужую вину. А еще она много фантазировала, или по просту врала.

К октябрю шестого класса она уже знала про каждого одноклассника что-то такое, чего знать не должна была. Кто списывал. Кто курил за школой. Кто обзывался на учительницу шёпотом. И всё это она аккуратно, методично, с наслаждением доносила до классной руководительницы. На переменах она не играла с детьми — она стояла у стены и смотрела. Запоминала. А потом шла в учительскую и говорила — тихо, доверительно, с выражением искренней озабоченности на лице: «Вы знаете, а Света Петрова сегодня списывала у Коли. И ещё они смеялись над вами, когда вы отвернулись».

Одноклассники раскусили её еще в первом классе. С ней перестали делиться, перестали звать в игры, перестали разговаривать. На неё смотрели с опаской — как на скользкую, неприятную тварь, которая может укусить в любой момент. Василина замечала это, но не понимала причин. Точнее — понимала неправильно. Ей казалось, что её сторонятся, потому что она лучше всех. Потому что она — отличница (хоть и с натяжкой), потому что учителя её хвалят, потому что она — любимица. Она не догадывалась, что её не любят. Ей это просто не приходило в голову.

К седьмому классу у неё не осталось ни одного друга. Но появилась тетрадка. Маленькая, в клеточку, которую она прятала под матрасом. В неё она записывала всех, кто её обидел — или кто, как ей казалось, мог обидеть в будущем. Список рос с каждым месяцем. Против каждого имени стояла дата и краткое описание проступка: «Обозвал Челюстью», «Не дал свой сок», «Сказал, что у меня платье старое». Василина не забывала ничего. Она ждала.

В восьмом классе случилась та самая поездка на морковное поле.

Это была школьная традиция: каждую осень учеников вывозили в колхоз помогать с уборкой урожая. Для детей это был скорее праздник — вырваться из душных классов, сидеть в кузове грузовика, жевать украдкой сладкую морковь, выдернутую прямо из земли. Василина тоже хотела ехать — не ради работы, а чтобы быть со всеми, чтобы доказать, что она такая же, как они, только лучше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.